Светлана Сологуб

8 965 244 53 14

Sologubsvetlana2018@yandex.ru

А ПОТОМ ИХ ВСЕХ УБИЛИ

*Монопьеса из двух писем.*

Письмо 1: от автора

Письмо 2: Таня, 35, жительница села Н. Курского приграничья

Здравствуй, мама.

Почему я пишу эту пьесу-письмо тебе? Потому что ты ещё жива, слава Богу, сидишь на кухне, пьёшь кофе, смотришь телевизор - новости и фильмы.

Новости мы потом с тобой обсуждаем. Зачем-то. Наверное, по привычке. Держать руку на пульсе мировой политики – это наша семейная привычка, которая пошла ещё от твоего папы, моего дедушки.

От новостей тяжко. Достаточно увидеть только одного нашего бойца, а точнее, его глаза над «балаклавой», чтобы сразу же захотелось трусливо перепрыгнуть на спасительный 156й канал, по которому обязательно идёт или «Иван Васильевич» или «Я шагаю по Москве».

Хорошо, что дедушка не дожил вот до этого. До сегодняшних международных новостей. До взгляда нашего бойца поверх «балаклавы».

Я, мама, ты знаешь, драматург. Так получилось. Ну… Как получилось, так и получилось. По крайней мере, я рада, что пишу сейчас эти слова, складывая их в предложения, в чём, как говорит одна моя знакомая режиссёр, и есть смысл драматурга. И, возможно, когда-нибудь даже услышу эти слова со сцены, и запишу видео, и покажу тебе. Приехать на читку ты, к сожалению, не сможешь, потому что уже совсем плохо ходишь, и именно из-за этого твою жизнь сейчас составляют кофе, новости и фильмы. А ещё ожидание меня – то с работы, то из магазина, то просто из соседней комнаты. Ожидание наших бесед.

Мне, как драматургу и прозаику, мама, очень хочется написать что-то про войну.

Мама, скажи цензорам, что это давно пора называть так, как оно называется. Война.

Но при этом я понимаю, что написать что-то об этом имеет право только тот, кто был там. Или знает кого-то, кто был там. Или сейчас там. Я… Я могу только выдумать. Заболеть новостью, пропустить её сквозь сердце и выплеснуть эту болезнь на бумагу – но только так, как она родится в моём воображении.

Ведь я не знаю, например, никого из жителей курского села Николаево-Дарьино, в котором убили почти всех мужчин, кроме одного. Мне не у кого узнать факты. А женский монолог об этом написать просит сердце, болеющее той новостью уже не первый месяц.

Поэтому, мама, я могу только придумать некую, допустим, Таню, тридцати пяти лет, жительницу села Н., которое находится на границе с Украиной. И от её лица рассказать-придумать о том, как «потом их всех убили».

Таня тоже будет писать маме.

«Здравствуй, мамочка. Я тебе пишу, не звоню. Потому что ты знаешь, что разговаривать я почти не могу, всё время начинаю плакать, когда слышу твой голос. Надеюсь, мы скоро увидимся, мама, и всё будет хорошо. Я очень хочу к тебе, мне тут, в ПВР, очень плохо, хоть условия и нормальные, но так хочется, чтобы ты обняла.

Психолог посоветовала мне написать тебе обо всём, о чём меня спрашивает следователь, а я не могу ответить. На всех беседах с ним я просто молчу, хоть он очень дружелюбный и заботливый. А информацию от меня ему очень нужно знать, ведь я – одна из тех, кто может подробно рассказать, как их всех убили.

Они их всех убили, мама.

И Серёжку, и Толика, и Андрей Михалыча, и отца Власия. И всех-всех. Живой остался только дед Митька, мама, чудом, его баба Валя в подполе вещами завалила, так и лежал там, и ходил под себя, и ел по ложечке, лишь бы не высовываться.

Они к бабе Вале в тот подпол заглядывали, мама. Она им говорит, одна я, сынки, одна, дети в городе, дед помер, так что одна совсем. Они ей – какие мы тебе сынки, курва старая, был бы сын твой здесь, мы бы его деревьями разорвали, чтобы пулю не тратить. Она спрашивает, за что ж вы нас так ненавидите, на одном языке, чай, разговариваем, одни сказки в детстве читали. А они – у нас свои сказки, про то, как русню вырезать надо до последнего колена, чтоб размножаться некому было, чтоб вы не ползли по миру, как плесень. Она думала, тоже убьют. Но ушли.

Алёна потом рассказывала, они меж собой про концлагерь что-то говорили. Мол, туда нас всех согнать.

Это хорошо, мама, что так получилось. Что ты уехала Матрёнушке поклониться именно тогда. Что ты в безопасности.

Мы тоже, получается, сейчас в безопасности, только я всё равно от каждого человека в камуфляже отключаюсь. Или в обморок падаю или в ступор впадаю, ни слова сказать не могу, дышу еле-еле. Только сердце колотится.

Так мало, мама, надо человеку. Просто чувствовать, как собственное сердце бьётся. Это значит – живёшь ещё.

А Серёжке приказали Костю застрелить. Так уж он, Серёжка, их испугался, так плакал, так просил его не убивать. Мы все, кто видели, как он у них в ногах валяется, даже и сказать ничего не могли. Не представляли, что так может быть. Чтобы наш Серёжка – и предатель. Ладно, Ксюха. От неё ожидали. Что и ноги перед ними раздвинет, и рассказывать будет всё, что узнает и увидит. Из-за неё Толик погиб. Она рассказала, что он в лес своих повёл. Они догнали, Толика убили, а Ольгу с детьми обратно пригнали. Ольгу снасильничали, вчетвером, детей от неё в отдельный сарай заперли. Детей собирались первой партией в лагерь отправить. Уже машину со дня на день ждали. Но что-то там у них не сложилось.

По порядку. Психолог говорит, надо писать по порядку.

Я сейчас постараюсь.

Они зашли 6 августа. Утром. Рано, около шести где-то. Прямо сразу танки, танки, ещё какие-то машины, не знаю марки, на них сидели военные не в нашей форме, некоторые и говорили не по-нашему, я слышала польский, английский, и, наверное, грузинский, хотя до этого раза я грузинский живьём ни разу не слышала. Только Толик, помнишь, мама, как-то рассказывал, как они отдыхать ездили в Грузию, он ещё так смешно пародировал акцент.

Совсем не похоже, мама, знаешь. Он пародировал совсем не похоже. Эти разговаривали… Почти как немцы. Странно, мама, я раньше не думала, что грузинский может быть похож на немецкий. Нет, не на немецкий. На фашистский. А может быть, это на любом языке так? Когда человек спокоен и говорит о мире, о любви, о счастливой жизни, его речь течёт плавно, певуче. А когда он хочет смерти… Он начинает гавкать, как бешеный пёс.

Немцам, мама, наверное, тоже несладко, что вот уж сколько лет их полмира фашистами считают. И язык их только со смертью ассоциируется. Была бы я немкой, мама, я бы, наверное, вообще разговаривать не могла.

Первый двор, ты знаешь, Серёжкин. Хорошо, что матушка его, Наталья Павловна, померла, не дожила. Не увидела, как сынок её, которому она в детстве всё книжки про Зою Космодемьянскую и пионеров-героев читала, в ноги фашистам бросился.

Уж как они смеялись.

Свинья, говорят, русская. За что жизнь свою купишь? За водку? За унитаз? Мать-то твоя жива, нет? Жаль, что нет, а то посмотрели бы, как ты её имеешь, только чтоб пожить подольше.

В общем… Его пока в живых оставили. Сказали, за нами всеми следить. Кто что говорит, кто как встречает.

А как встречали. По-разному встречали. Кто «здравствуйте» скажет – того просто ограбят подчистую. Кто плюнет в ноги – тому под ноги стреляют. Или в лоб. Как учителю Опанасию Петровичу. Они ж его хотели в штаб к себе взять. Как умного. Образованного. Чтобы помогал на местности ориентироваться, рассказывал, как лучше дальше двигаться, какие дороги выбирать, чтобы нашим не попасться. Он отказался. Плюнул в ноги их командиру. Так воспитан был, что не в лицо, а в ноги. Его тут же и убили.

Серёжка ещё жив тогда был.

Потом Ксюха про Толика и его семью рассказала. Как он в лес их повёл. Нет больше Толика. И Ольги, считай, что нет.

Ты не знаешь, чем он ей так досадил, Ксюхе? Толик? Я слышала вроде что-то такое, что она ему в любви признавалась, а он отверг, но это же наверняка брехня, сплетни, ну где Ксюха и где любовь, тем более Толик и Ольга…

Прости, мама. Я всё не о том. Какая теперь разница. Нет Толика. И Ольга. Не разговаривает ни с кем, даже с детьми. Я тут с ними, в ПВР, вожусь немного, с ней тоже возятся, врачи и психологи. Но что они могут. Когда эти… Которые разговаривали по-польски и по-грузински, на глазах у всех её…

Нас всех согнали смотреть на это, мама.

Я потом долго с ней сидела, всё укрывала курткой своей, кровь вытирала, как могла. Она так и не встала с той дороги, до следующего утра.

А они, пока её насильничали, мама, ведь прекрасно друг друга понимали. Хотя одни по-польски, другие по-грузински.

Я потом видела одного из них. В лесу. Мёртвого. Уже когда наши пришли.

Жалко, что одного.

А Серёжка не смотрел. Не знаю, где был. Они ведь с Ольгой одноклассники.

Отец Власий погиб от осколков. Тогда обстрел был. Они же сами, своими миномётами, по селу нашему и крыли. Все попрятались, куда могли. А отец Власий из храма шёл. Куда там укроешься. Как шёл, так на колени и пал, с молитвой. Головой в землю, Отче наш, а тут и осколки. Так и умер. Посреди дороги, коленопреклонный. Потом смотрели вокруг – несколько мин в землю ушло, не разорвавшись.

Мама, ты веришь в Бога?

Они чертыхались и матерились, пока разминировали это всё вокруг отца Власия. Пока его оттаскивали. Меж собой всё переругивались, мол, что ж это миномёты по своим кроют. Да пусть бы они всё вокруг покрыли-перекрыли. Лишь бы этих зверей Земля больше не носила никогда.

До войны отец Власий говорил, прощать врага своего надо. Смиряться перед испытаниями. Грех ненавидь, а человека люби, он говорил. Но только он так не про этих говорил. А так, про деревенские дрязги. Про этих всё больше молчал и молился. Один раз только сказал, что ребята наши, которые этих на поле брани поражают, греха не совершают. И про предательство тоже говорил. Что через Иудин грех даже в ад не попадёшь. Потому что нет дороги ни в ад, ни в рай тому, кто душу свою предательством убил. Сам.

Серёжка плакал, как отец Власий погиб. В овраге сидел и рыдал. Я грибы собирала, видела. Не сказала ему ничего.

Пятеро наших мужиков сразу тоже в лес ушли. Сами, без семей, никому ничего не сказали. Ты, наверное, поймёшь, кто это был. Женька, Вадим, Колька, Олег и Николай. Все охотники, все с оружием. Успели этим попакостить, успели. Натовскую машину сожгли, восьмерых из тех, кто в нашем селе стояли, пристрелили. Разозлили этих, конечно, до белого каления довели. Эти аж все дела побросали, только на «отряд пятерых» несколько дней охотились. Так их потом пятерых наши и нашли, когда пришли. Видать, вкруговую отстреливались, пока патронов хватало.

«Отряд пятерых». Это ж «они» так наших ребят назвали, мама. На чистом русском языке.

Я однажды…

Я однажды…

Очень было страшно, но как будто пелена белая упала на глаза, разум помутился, и говорю я этому, который зашёл воды попить:

- А чего это вы по-русски тоже разговариваете? Нечего вам. У вас свой язык есть. Мова. На нём и разговаривай.

А он так посмотрел, мама… Автомат поправил. И говорит:

- Как хочу, так и разговариваю. Я тут свободный человек. А не ты. Прикажу – и ты на мове забалакаешь.

Костю решили убить утром 21го. Мы уж и попривыкли к ним как-то, знаешь, мама. Привыкли, что в любую минуту мина прилетит, гранату бросят, в спину выстрелят. Страшно было, конечно. Постоянно страшно. Но когда страх постоянный, он… Становится частью тебя. Не мешает жить. А как будто помогает. Подталкивает. Тебе страшно, но ты знаешь, что через этот страх нужно переступить. Выйти на улицу за водой. Прочитать молитву вслух. Не пригнуться во время прилёта.

Как и с Ольгой тогда, всех согнали на улицу. Вывели Костика. Он ничего не сделал такого. Не поджигал, к нашим не убегал. Просто каждый день кормил курей. Готовил еду. Прятал своих в подвале.

Он просто был мужчиной.

А убили их всех, кроме деда Митьки.

Они долго куражились вокруг него, мама. Ходили кругами, постреливали, кто в воздух, кто в землю. Кричали разное. Каждый на своём языке.

Костик описался.

Тогда позвали Сережку. И дали автомат.

Стреляй, говорят, свинья русская, в свинью русскую. Тогда поверим, что ты свой.

Костик молчал. А Серёжка опять плакать начал. Не могу, говорит, в него стрелять, свояк он мне был, неважно, что я разведённый сейчас, раньше-то родня были. Они говорят, или ты, или он, нам всё равно.

Кричали, кричали… Много кричали. И стреляли много, но всё вокруг. Всё ждали, пока Серёжка выстрелит. Куда выстрелит.

Серёжка Костика и убил.

А они – Серёжку. Тут же. Изрешетили. Серёжка на Костика-то дай Бог три пули извёл. Хотел, наверное, с одной, да не получилось, Костик всё не умирал. А в него пуль двадцать высадили. Живого места на нём не осталось.

После Серёжки, мама, им, наверное, стало скучно.

Остальных добивали по одному в день.

Бабы слышали, Ксюха вроде брехала, что они в карты на нас играли. Каждый выбирал себе по двору, и, если проигрывал, мужика с того двора стреляли. Никогда не узнаешь, за кем придут.

Так и добили.

Андрея Михалыча, который нам крышу помогал в прошлом августе перекрывать.

Николая, рыбака. Его с женой вместе убили, она всё от него не отцеплялась никак.

Олега, художника. Ну то есть, ты помнишь, никакой он был не художник, на почте работал, тихий такой был, всё рисовал, мы его художником и прозвали. Он мольберт обнимал, когда в него стреляли.

Игоря, участкового. Думали, его первым расстреляют. Но они его сначала пытали. Три дня и три ночи. Он только на третью ночь закричал. Так закричал, что даже в поле было слышно. Тогда они его и убили. Неинтересно, видно, стало дальше с ним возиться.

Игоря Федосеевича, второго учителя. Он всё разговаривать с ними пытался, вразумлять. Про историю рассказывал, про прошлую войну. Говорил, мол, как же так, мы же вместе фашистов били тут же, на этой же земле, что ж вы творите теперь. Как вам перед дедами, перед прадедами своими не стыдно, хлопцы, они же тут все и лежат, поди. А они только смеялись, мол, тявкай, тявкай, шавка столичная, рассказывай свои кремлёвские сказочки про то, как вы всех освободили, а мы тебя послушаем, пока не надоест.

Так по одному всех и добили.

Дед Митька вот только и остался. Не разговаривает тоже ни с кем. И вид такой… Как будто стыдно ему, что живой. Дурачок. Он всегда, помнишь, мама, дурной был. Дурным и остался.

Ксюху потом тоже в лесу нашли. А брехали, что с собой заберут. Да видно, помехой стала.

Хорошо, что я у тебя не замужем и без детей. И не такая уж и красавица. Расстрелять у меня было некого. Насильничать не стали. Хотя этот, который всё по-русски разговаривал, долго ходил. До самого их отступления. Я однажды кочергу приготовила. Всю ночь думала, как в спину ему кочергу воткну, пока пить будет. Хватит сил – так и слава Богу. Не хватит… С отцом Власием встретимся, значит.

А он повернулся эдак, мама, пока пил. Да посмотрел на кочергу.

- Не думай даже, девка, - говорит. – Я тогда тебя убью. А тебе пожить ещё надо.

И всё по-русски, мама, всё по-русски… Что ж это за жизнь такая, мама, случилась, что хлопец, за которого я, может, и замуж бы пошла, если бы не… Если бы не научили его меня убивать… Если б всё было как раньше, одна страна…

Как мне обо всём этом следователю рассказать, мама? Как наших парней и мужиков всех убили. Как я о фашисте, как о своей судьбе, вдруг подумала, кочергу в уме держа.

Зачем всё так запуталось, мама, да на человеческие жизни размен пошёл? Зачем они говорят так же, как мы, и нас убивают? Ладно, немцы. У них хоть язык чужой был.

Мама, как так получается, что маленький человечек вырастает в фашиста? Кому это выгодно? Вот он ковыляет в пелёнках и смеётся бабочке, которая садится ему на носик. А через двадцать лет этот же ребёнок убивает беззащитного старика просто потому, что тот хочет разговаривать на другом языке. Не должно так быть, мама.

Не получилось у меня по порядку. Мужиков-то в нашем селе, поди, под пятьдесят было. Не могу я, мама, описывать тебе убийство каждого. Мне тебя тоже жалко. Да и не видела я всех расстрелов. Сидела в подвале, тряслась. Выходила днём за водой или когда всех сгоняли на казни.

Я скоро приеду, мама. Мне обещали, что скоро к тебе повезут. Вот только со следователем поговорю. И расскажу, как… Как Серёжка застрелил Костика, а они застрелили Серёжку. Как отец Власий отмолил нас от мин. Как пятеро отстреливались. Как Толик хотел своих спасти. Как Ксюху тоже убили. Как этот… Всё ходил пить и по-русски разговаривал. А сам потом в Серёжку первым и выстрелил.

Нелюдь.

Жди меня, мама. Теперь уже точно всё будет хорошо. Теперь вокруг свои.»

Как-то так у меня получилось, мама.

Честно? Если честно, мне в глубине души совсем не нравится поворот с Таней и фашистом, который ходил к ней пить воду. Вроде как… Я пишу о том, что фашист тоже может быть человеком, что фашиста можно рассматривать как потенциального жениха. Эдакая… серая мораль, модная по нынешним временам. Когда и добро – не до конца добро, и зло – не такое уж и зло.

Но нет. Не о том я хотела сказать, мама.

Я хотела сказать о том, что, если бы мы остались жить в альтернативной истории, в которой не развалилась бы самая большая страна на Земле, в которой человека учили любить и отдавать жизнь за любимых - совсем по-Библейски учили, хоть и не было в той стране Бога, по крайней мере, официально… В которой человека учили в первую очередь быть другом каждому соседу, на каких языках вы бы ни разговаривали (если, конечно, сосед не приходит к тебе со злом, не серым, а вполне себе чёрным, со свастикой)… В которой не было бы места этой войне, в которой враги – друг другу братья по крови, иногда в буквальном смысле слова…

…то вполне может быть, что жительница русского села Н. Таня вышла бы замуж за украинского хлопца. И много лет спустя их внучка писала бы пьесы о любви и дружбе. И подписывалась бы обычной хохляцкой дедушкиной фамилией Сологуб, взятой как псевдоним из-за благозвучности.

А пока, мама… Давай не будем думать об альтернативах. И возьмём себе за правило пропускать хотя бы пару новостных программ в день.

Будем просто ждать.

Когда наши ребята снимут «балаклавы».

Когда на улице вдруг крикнут: «Победа!!!»

Конец.

2025.